

Лит. жур. - 1994. - 29 июня. - с. 3

Чингиз АЙТМАТОВ:

“Сокровенное слово рождается во внутренней полемике”

Беседа писателя с обозревателем “ЛГ” Борисом ЕВСЕЕВЫМ



Около четырех лет живет Чингиз Айтматов за границей. Живет в Люксембурге, куда уехал еще в горбачевские времена Послом СССР. Как ему там дышится? Как пишется? Какие реалии полноправно входят и обживают его новые вещи, в частности, только что законченный роман?

Вот что интересовало меня прежде всего во время нашей встречи в Киргизском посольстве в Москве, куда он приехал на несколько дней.

Но прямые вопросы — не всегда самые лучшие. Поэтому мы начали чуть издали.

— Чингиз Торкулович! Вы только что закончили новый роман. Помните, у Булгакова: “И под воркотню грома, он сказал злое: — Я прочитал ваш роман. Я вздрогнул”. Вздрагиваете ли вы при подобных вопросах? Не посетит ли вас мысль, что кто бы эти слова ни произносил, их в конечном счете произносит дьявол? А может, плохо понятий нами, принимаемый за грех и искусство Бог?

— Думаю, что в конечном счете этот вопрос все же задаем себе сами мы, пишущие. И в одном случае это глас Божий вопрошает нас, а в другом — сам дьявол. Так и должно быть. Ибо, написав что-либо, мы должны, обязаны слышать это вот: “Я прочитал ваш роман”. Мы, как перед судом, должны понять: что же мы сотворили? Зло или добро? Но актуальней для меня все же, если такой вопрос придет через читателя, и читателю этому мною будет отвечено. Сейчас как раз то время, когда для меня этот вопрос особенно важен. Несколько дней назад я сдал последний кусок моего нового романа “Тавро Кассандры” в журнал. Этот последний кусок — эпилог законченного еще полгода назад романа. Тогда я думал: роман окончен, теперь почувствовал: необходимо кое-что досказать, необходимо какое-то послесловие. Работа, как всегда, продвигалась свое: получился массивный, развернутый эпилог, почти повесть. Были у меня колебания и с названием романа. Но теперь все позади: роман сдан в “Знамя”, надеюсь, в каких-то ближайших номерах начнет публиковаться. И вот тогда, когда роман будет напечатан, я, может быть, вздрогну и в который раз подумаю: что же я предложил читателю? Тем более что после “Белого облака Чингисхана” прошел довольно большой срок. А тем временем произошли события, которые не знаю кто и когда сможет описать. Пока они плохо поддаются какому-то обобщению и осмыслению и протекают как новое сотворение мира из хаоса. Что есть человек в наши дни, человек конца века? К этой проблеме я и пытаюсь подступиться, обозначить то, что волнует меня, в художественных образах.

— Но не одни художественные образы вас занимают. Только что в издательстве “Радуга” вышла книга ваших “Диалогов” с Дайсаку Икэдой. С чего начались эти диалоги, какие жизненные вопросы их “спровоцировали”?

— Мы с Икэдой ровесники. Оба дети войны. Мы начали с рассуждений о книгах для молодежи. Литература и интеллигенция во многом повинны в возникновении войн — к этому мы с ним пришли. В своем увлечении “разящим публицистическим”, митинговым словом мы не замечаем, что сами провоцируем конфликты. Давайте остановимся. И будем разбираться в словах.

— В этих же “Диалогах” вы, как мне кажется, помимо философских размышлений, ищете еще и свою религиозную позицию, свою “конфессию”, или, лучше, как у Платона, “припоминание” ее. Не помешают ли вам такие поиски? Ведь мы можем получить еще одного проповедника и потерять писателя. Каким вам видится дальнейший путь: в сторону религиозного морализаторства (в позитивном смысле) или в сторону писательства?

— С возрастом начинаешь задумываться над общими вопросами бытия. И действительно возникает какое-то перепутье. Да, за морализаторством, даже в позитивном смысле, может последовать дидактика, догматизм. Но есть и другой аспект: настоящая большая литература должна вмещать в себе многое, в том числе и “конфессиональное” самоощущение. Кстати, я побываю, что в новом романе читатели обнаружат вещи, которые выставляют меня в несколько странном ракурсе. У меня там один из героев высказывает желание быть “полирелигиозным” че-

ловеком. Он так примерно и говорит: если я сегодня в Индии — я буддист. Оказался на Ближнем Востоке — мусульманин. Он каждую религию хочет сделать своей, во всех хочет быть “своим человеком”. Я хочу быть “поликонфессиональным” человеком! — говорит мой герой.

— Получается что-то близкое к христианскому экуменизму, только в масштабе всех церквей. Но ведь и экуменизм далеко не для всех христиан приемлем. Что уж говорить об объединении индуиста с шимтом, о быстром обмене их религиозного багажа на другой...

— Экуменизм — несколько иное. Там сближение религий, некая их притирка и подгонка, смешение. А здесь — не затрагивая ни волоса в утвердившихся уже канонах религий — человек дает себе свободу. Ведь в конце концов все религиозные пути ведут к единому Богу. Если бы люди оказались способны на такое поведение — не затрагивающее религиозных чувств других верующих, не оскорбляющее и не деформирующее их, — оказались способны к свободному перемещению по “территориям” религий, это очень облегчило бы жизнь человечества. Я, конечно, понимаю, что такая точка зрения вызовет не только сопротивление, но и яростное неприятие. Но давайте разберемся. Ведь, в сущности, все религии, во всяком случае, после того как они были даны, в дальнейшем выстраивались и догматизировались человеком. В этих религиях кипит все те же страсти: гордыня, желание превознестись, приложить все силы к тому, чтобы именно твоя религия вышла победительницей! Монополизм здесь очень силен. А эгоизм религиозный? То есть все то, что присуще человеку в обыденной жизни, особенно в политике, переносится им в сферу религии. Поэтому мой герой, о котором я упоминал, многим покажется смешным, дурным, попросту ненужным. Но все же, сдается мне, дух человека не должен замыкаться. Он ведь подобен Духу Божьему и, подобно ему, должен быть всеобъемлющим. Кстати, в новых мною задуманных вещах и религии, и философия будет намного меньше, чем в последнем романе.

— Значит, все-таки возвращение к истокам? Возвращение к тому Айтматову, которого мы так ценили по “Джамиле”, по “Материнскому полю”, “Пегому псу”?

— Да, и, похоже, это будет все тот же давний мой “романтизм”, который можно по-разному трактовать, но без которого в душе моей литературы нет. Думаю, что отказываться от такой литературы ни мне, ни другим писателям не стоит, сбрасывать ее куда-то под откос — тоже рановато.

— Сейчас сбрасывают “с корабля современности” все, что попадает под руку. В особенности достается писателям советского периода. Но и русским классикам тоже. Новая же литература строится ловкими критиками на нескольких вещах третьестепенных писателей...

— По поводу сбрасывания. Сбрасывают потому, что хотят установить свой отчет, свою монополию на видение, прикрываясь тем, что теперь наступили такие якобы времена, когда все, что прошло, — устарело, бойко проповедают совершенно обратное тому, что было. Стараются уйти от реализма, от фактулы, сюжета, от створа к завитушкам псевдоиронии и пр. Но

это обречено. Есть в человеческой натуре одно коренное свойство: необходимость слышать нечто повествовательное. В свое время возникли сказки, они дожили до наших дней, несут у всех народов и на всех языках примерно одну конструкцию. Красота их заключается в том, что человек в этом сказочном варианте переживает и выстраивает себя и мир заново. Это эпическое начало бессмертно. Рядом могут возникнуть самые разные вариации на основную тему, разные течения. Но не должно произойти замены самой сути на второстепенные ответвления. Хотя на какой-то период господство “побочных действий” установится и может.

— Есть еще одна особенность у новых критиков, моделирующих “новую” литературу. Они не позволяют делать литературу писателям, а хотят делать ее сами, причем не путем написания художественных текстов, а путем создания определенных установок и тенденциозного комментирования. Как у Монтеня: “Комментаторы повсюду так и кишат”...

— “А настоящих писателей — нехватка”. Да, сейчас культ критики налицо. Этот культ порождает еще один: культ искусственно сконструированного, постмодернистского произведения. Чем вещь “постмодернистской”, чем дальше от традиций, чем больше в ней того, что в литературе раньше и не ночевало, тем скорее это берется на вооружение, охотней используется. Используются с тем, чтобы, с одной стороны, застрашить читателя, а с другой — шокировать его, довести до умоисступления. Думаю, это не от великих прозрений, не от великих запасов мыслей и образов. “Слишком большое внимание придает литературе. Литература — это игра, а в игре может быть всякое” — говорят эти критики. Но я с этим не согласен. Литература не игра! Она думает, что она клип, и потому вся пропагандируемая ими литература — это “клиповая” литература. Когда вы смотрите клипы, они вам нравятся, хотя вы вполне даже соображаете, что в них происходит: мишура, мерцание, абсурд, шелуха! Мгновенные планы, технические трюки доводят до головокружения. Но клип закончился — и вы остаетесь совершенно пустым. Никакой связи с вашей предыдущей и последующей жизнью!

— Эти же критики утверждают: на Западе уже нет серьезной высокой литературы, а есть то, что вы только что назвали литературой “клиповой”. Другая там — говорят — никому не нужна. Стало быть, и нам не надо. Так ли?

— Обо всей литературе сказать не могу, скажу о своем опыте. Если та литература, к которой я смею причислить и себя, умерла, то почему же тогда книги серьезных писателей издаются и переиздаются? У меня, к примеру, на Западе бывает до 30 читательских встреч в году. За это же время около 100 — 110 тысяч экземпляров моих книг раскупается. Интерес к ним почему-то не иссяк. Особенно у немецкоязычных читателей, встречи с ними проходят даже в церквях! Конечно, западная литература во многом приходит ко мне через русские переводы. Но все же у меня есть основания заключить, что и на Западе идет своя внутренняя борьба. И, скажем, в Японии тоже. И там, и там попытка превратить литературу в калейдоскоп, в клип тоже далеко не всеми читателями и

пишущими о литературе приветствуется. Так что это, пожалуй, общемировой процесс, который в России, как всегда, сильнее и острее воспринимается. Читатели, конечно, бывают разные. Разная литература им нужна. Но все же основная масса читателей, сознательно или бессознательно, хочет литературы реалистической, серьезной, без всяких “измов”. В той же Японии новая литература, на которую сильнейшим образом повлияла великая русская литература XIX — XX в., ориентируется в основном на реализм, в частности, на эпическую струю в нем. Но пусть в конце концов между стилями идет конкурентная борьба, это позволит взойти на новые ступени бесконечной лестницы реализма. Но вот здесь-то литературная критика и может сослужить дурную службу, выпячивая и превознося одно и затапывая другое. Это уже было, к чему привело — известно.

— Но вернемся к русской литературе. Кто, по-вашему, оставил в ней за последние годы наиболее заметный след?

— Валентин Распутин. Никто пока не смог превзойти уровня его уже довольно-таки давно вышедших произведений. К Распутину, к его гражданской позиции можно относиться по-разному, но что касается собственно литературы — не думаю, что новые известные мне вещи, тем более вещи в “клиповом” стиле, способны достичь тех высот, которых достиг Распутин, достиг, ни на йоту не отступая от высоких традиций русского реализма и в то же время будучи архисовременным в подходах и приемах. Вот такая литература органична и созвучна восприятию человека. Одно дело, когда вы находитесь в лесу, и совсем другое — искусственные заросли какого-то фешенебельного отеля, вы входите туда, натякаться на пальмы и кактусы, все это, может быть, и неплохо раставлено, но все это искусственное. Настоящий лес, настоящая жизнь — это нечто совсем иное.

— Литература в России всегда была литературой совести. Слово это сейчас не в чести, его почти не упоминают. А вы в своих вещах уделяете ему столько внимания. Не слишком ли расточительно говорить о том, чего нет?

— Если бы его только замалчивали, это слово. Нет! Его хотят осмеять, унижить, обесценить. Представить дело так, что это всего лишь архаизм. Но литературу и искусство нельзя рассматривать как элементы технического прогресса. Ничто сложившееся в них не может устареть. Они органическая часть космоса и не движутся к коммунизму или к обществу потребления, а живут по своим собственным законам.

— В начале пути на вас оказала решающее влияние русская литература, ее традиции, потом были Гессе, Маркес, но все же “русский дух” преобладает. Но что хорошо для русского писателя, то может быть не совсем хорошо для киргизского? Хорошо ли вообще, что писатели из наших бывших республик так тесно следовали за русской классикой, многим ведь теперь такая близость не нравится?

— Так сложилась моя судьба: я двуязычный писатель. Писатель двух культур. И кто бы меня ни упрекал за это, пусть из моего айла, пусть из стана русской критики, — тешно! С русской литературой я связан кровно! Сейчас, когда

национализм возымел такую силу, когда размежевание идет у нас с невероятной жестокостью, я боюсь, что оно скажется негативно и на творчестве писателей, на их судьбах. Ведь это уже достояние истории, что к русской литературе примкнули многие писатели нерусского происхождения. И это о многом говорит. Кроме того, “теснота” и близость к ней открыли нам путь в большую литературу. Без русского языка никто из нас перед мировым читателем предстать не мог и никогда бы, возможно, не предстал! И еще — может, это кому-то и неприятно слышать — скажу: я наши литературы жестко на категории не делю. Вот русская литература, вот киргизская, вот белорусская... Они, конечно, существуют сами по себе на своих языках, но есть еще какой-то момент, когда все они становятся большой литературой “русскоязычной”. Да, сейчас в моих родных краях и по соседству, скажем, в Казахстане, есть литераторы, старающиеся всячески откеститься, отмежеваться от русского языка, от русской литературы. Но это путь в тупик! Если наши местные писатели пойдут по пути самоизоляции, это будет означать, что национальные литературы угаснут и исчезнут вообще. Они просто не могут отделиться от русского “моста”. На пути Восток — Запад Россию никто никогда не заменит. Что до меня, то я понимаю: чем более сложные темы я пытаюсь взять, тем теснее соприкасаюсь с русской литературой. О традициях же и влияниях во время работы я никогда не думаю. Они где-то внутри. Там, во внутреннем этом море, в этой стихии, наверное, и Толстой, и Тургенев, и Чехов с его великолепной “Степью”, и Горький, и Шолохов... Все они присутствуют в моем восприятии настолько, насколько я мог их охватить и понять. Вот из этой стихии я и пытаюсь сотворить уже свою стихию.

— А какую роль играет в вашем творчестве киргизский эпос? Не зашифровано ли в нем — на уровне архетипов и образов — то старо-тюркское единство, о котором говорил Лев Гумилев? Единство чеховской степи и поющего о ней манасчи?

— Не исключено, что на больших глубинах какие-то образы и символы соприкасаются. Вы упомянули о “Манасе”, и я не могу не сказать: если есть своеобразие в моем творчестве, оно идет от киргизского эпоса. Откуда берется у этих манасчи поэтическая сила? Как они запоминают, подобно компьютеру, миллионы строк? Волей-неволей обратиться к мифу, к легенде, чтобы понять это. Почти в каждом своем произведении я так или иначе использую “Манас”, мифы, легенды из него, стараюсь синтезировать их. Кстати, в будущем году мы должны отметить тысячелетие эпоса. Это грандиозное национальное событие. Я не знаю в мировой культуре ничего подобного “Манасу” по охвату событий, времен, даже по объему. 25 лет понадобилось нашему академическому институту, чтобы только собрать и свести воедино основной корпус эпоса. А сейчас мне говорят, что дело это практически похерено. Не до эпоса, видно! То же и в России: тюркология была одним из столпов российской науки. Сейчас — угасает. На фоне таких вот угасаний празднование памятных дат вовсе не кажется какой-то формальностью. Да, оно не будет праздником книжных червей или этнокарнавалом, это будет праздник органической жизни, перешедшей в слово!

— “Национальное”, “национализм” — здесь есть и доброе зерно, но есть и ранящие острицы. Что как писателя вас здесь, в этой области, интересует? Что привлекает, что отталкивает?

— Меня сейчас волнует тема (если это можно назвать темой) “национализм и экология”. Оказывается, эти явления соприкасаются. Яркий национализм — это такая трата энергии, которая забирает силы у целых поколений, уничтожает плодородие почвы и живительность вод, иссушает, палит их. Возникают войны, конфликты, рвется сама основа жизни. Национализм сверх меры, сверх того, что требуется для нормального национального самосуществования, — ослепляет и изолирует. Здесь как раз роль, миссия интеллигенции: “облагородить” национализм, ввести его в рамки культуры.

— Вы только что получили престижную австрийскую премию. Что это за премия, почему ее вручили иностранцу?

— Для меня эта премия — большой сюрприз. Я очень счастлив и не буду скрывать этого. А началось все так: я получил письмо за подписью девяти членов жюри, деятелей австрийского образования и культуры, где говорилось, что мне присуждена “Австрийская Государствен-

ная премия в области литературы”. Придается одна такая премия представителю мировой литературы раз в два года. В 1992 году ее получил Салман Рушди. Присуждение мне этой премии я объясняю тем, что в последнее время меня много издавали в переводах на немецкий, издавали в Швейцарии, но книги расходились по всей Европе. Те вещи, которые здесь у нас уже не издаются, там выходят. Там ведь все зависит от рынка: есть спрос на книги — их издают... Вручение премии состоится в конце августа — начале сентября. Я считаю, что в мире литературы такие вот взаимные поощрения должны быть. И не грех бы одну из российских премий иногда вручать немцу, японцу, французам...

— Вернемся все же к вашему последнему роману. Там, как всегда у вас, несколько образно-стилистических рядов. Но мне не хватило продолжения “русского” ряда. Он лишь намечен пунктиром. Космический монах Филофей... Его обращение к землянам... Это ведь не случайность. Почему же его линия оборвана?

— Эпилог, который я написал только что и который вы еще не читали, снимает этот вопрос. Там Филофей развернут, дан процесс его возникновения и становления. Да и фантастический элемент романа при ближайшем рассмотрении оказывается реальным! Он так же реален, как реальна фантастическая наша нынешняя жизнь. Посудите: Россия (и русская литература, конечно!) оказалась вулканом, и мы все в жерле его! Здесь и революция, и советский период, перестройка и постперестройка, все кипит, бурлит. И плохо это, и страшно, и в отчаяние приходишь, но это и прекрасно вместе с тем! И при всей нашей убогости материальной, экономической, при всей грязи на улицах есть отчаянная надежда вырваться, взлететь. И слава Богу, что мы оказались причастны к живому, а не к омертвевшему процессу жизни. А он кое-где уже омертвел...

— И все же что-то необычное чудится мне в судьбе вашего романа: сначала он выходит на немецком (так никогда не бывало раньше), затем вы дописываете эпилог, который, видимо, изменит все восприятие романа в целом, отдасте его в “Знамя”, а не в “Новый мир”, который всегда был вам сроден. С чем бы такие повороты? Или это смена ориентиров?

— Журнальный вопрос прост. “Новый мир” загружен, да и почему не попробовать себя в другом журнале? Может быть, мое письмо и сейчас ближе к “Новому миру”, но... “Новому миру” я обещал роман “Богоматерь в снегах”. Однако так и не дописал его. Началась перестройка, захватила меня своими вихрями... Кстати, одним из основных мотивов моего отъезда за границу было желание сидеть и писать. Теперь не знаю, проклинаете ли вы когда-нибудь этот роман. Дело в том, что там многое связано со Сталиным и сталинизмом. Но сейчас это поле истоптано, тема многими доведена до абсурда. Потому сегодня мне трудно вернуться на это поле.

— Большая часть вашей жизни, Чингиз Торкулович, прошла при советской власти. Для вас в этом времени каких отрезков было больше: зла или добра? Или все перемешалось? Короле, проклинаете ли вы ту жизнь?

— Как можно проклинать собственную жизнь? Это можно делать лишь на словах. Ведь историю куда не выкинешь. Она была, эта история! И нужен диалектический к ней подход. Многие кланут то время, говорят: нельзя было творить. А сейчас можно. Но что-то маловато и скудно выходит! Может, дело в сопротивлении физического закона, наверное, и в культурной и общественной жизни есть свой “сопромат”. Ведь именно во внутренней полемике, в противостоянии мертвому и косному рождается сокровенное слово...

Чингиз Айтматов поставил в новом романе последнюю точку. Что же это за роман?

В каком стиле? Ни в каком. Это роман-образ. Роман-троп. И потом: стили меняются — настоящие писатели остаются. Стиль — одежда. Суть — в образе и символе. Тот, кто владеет ими, обретает и стиль. Айтматов сам — образ своих повестей. Он вышел из них, и в какую бы сторону — как в новом романе — его ни повело, всегда возвращается назад, в смутно возмущающиеся меж времен и народов евразийские пространства.